

И.А. БУНИН

МИТИНА ЛЮБОВЬ



*ИЗДАТЕЛЬСТВО АСТ
МОСКВА*

УДК 821.161.1-32
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
Б91

Серия «Эксклюзив: Русская классика»
Серийное оформление *Е. Фerez*

Бунин, Иван Алексеевич.
Б91 Митина любовь : [сборник] / Иван Алексеевич Бунин. — Москва : Издательство АСТ, 2017. — 480 с. — (Эксклюзив: Русская классика).

ISBN 978-5-17-103721-5

Человеческая душа во всем ее многообразии — самая значимая тема для Бунина. Неважно, идет ли в его произведениях речь о муках творчества или о скуке повседневности, о настоящей любви, пронзительной и непреодолимой, или о страсти, оглушительной, будто солнечный удар, неважно, являются ли его героями мужчины или женщины, — каждая из повестей и рассказов Бунина остается ярким, замечательным портретом души в некий миг ее существования.

УДК 821.161.1-32
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-103721-5

© ООО «Издательство АСТ», 2017

Роза Иерихона

В знак веры в жизнь вечную, в воскресение из мертвых, клали на Востоке в древности Розу Иерихона в гроба, в могилы.

Странно, что назвали розой, да еще Розой Иерихона, этот клубок сухих, колючих стеблей, подобный нашему перекасти-полю, эту пустынную жесткую поросль, встречающуюся только в каменистых песках ниже Мертвого моря, в безлюдных синайских предгорьях. Но есть предание, что назвал ее так сам преподобный Савва, избравший для своей обители страшную долину Огненную, нагую мертвую теснину в пустыне Иудейской. Символ воскресения, данный ему в виде дикого волчца, он украсил наиболее сладчайшим из ведомых ему земных сравнений.

Ибо он, этот волчек, воистину чудесен. Сорванный и унесенный странником за тысячи верст от своей родины, он годы может лежать сухим, серым, мертвым. Но, будучи положен в воду, тотчас начинает распускаться, давать мелкие листочки и розовый цвет. И бедное человеческое сердце радуется, утешается: нет в мире смерти, нет гибели тому, что было, чем жил когда-то! Нет разлук и потерь, доколе жива моя душа, моя Любовь, Память!

Так утешаюсь и я, воскрешая в себе те светоносные древние страны, где некогда ступала и моя нога, те благословенные дни, когда на полудне стояло солнце моей жизни, когда, в цвете сил и надежд, рука об руку с той, кому Бог судил быть моей спутницей до гроба, совершал

я свое первое дальнее странствие, брачное путешествие, бывшее вместе с тем и паломничеством во святую землю Господа нашего Иисуса Христа. В великом покое вековой тишины и забвения лежали перед нами ее Палестины — доли Галилеи, холмы иудейские, соль и жупел Пятиградия. Но была весна, и на всех путях наших весело и мирно цвели всё те же анемоны и маки, что цвели и при Рахили, красовались те же лилии полевые и пели те же птицы небесные, блаженной беззаботности которых учила евангельская притча...

Роза Иерихона. В живую воду сердца, в чистую влагу любви, печали и нежности погружаю я корни и стебли моего прошлого — и вот опять, опять дивно прозябает мой заветный знак. Отдались, неотвратимый час, когда иссякнет эта влага, оскудеет и иссохнет сердце — и уже навеки покроет прах забвения Розу моего Иерихона.

1924

Брань

Л а в р е н т и й . Я судержал и мог судержать старое потомство. Я этой земли шесть наделов держал, когда господда костылями били, а теперь тебе отдай?

С у х о н о г и й . Да ты ее у меня отнял! Меня оголодил! Я ее, землю-то, кровью облил!

Л а в р е н т и й . Ты мне ее продал.

С у х о н о г и й . Ты ее отнял! Купил!

Л а в р е н т и й . Ты продал, а я купил. А теперь ты, значит, хозяин стал? Я за нее деньги отдал. Как же мне землей не интересоваться? Я через нее серый стал, брат ослеп, а отец в гроб пошел. Вот как его наживают, капитал-то.

С у х о н о г и й . Да-а, так! Ты у меня две десятины держал, одну за деньги, а другую за процент один.

Л а в р е н т и й . Да что я ее у тебя — силком брал? Ты сам сдавал. Нужда сдавала. Нужда просила.

Сухоногий. Конечно, нужда! А ты ее забыл! Ты греб!

Лаврентий. Греб! Ты поди погляди, сколько у меня ваших векселей лежит не плоченых. Вы, мужики, хамы.

Сухоногий. А ты-то кто ж? Не мужик, что ли? Не такой же хам?

Лаврентий. Я хозяин. Я слово свое судержу. Это ваш брат, нищebroды, хамы. Пускай теперь на осинке передо мной удавится, трынки не дам. Зачем ему, сукину сыну, надо было дробач с гумна тащить?

Сухоногий. А ты сам зачем тащил?

Лаврентий. Я не тащил, а за деньги брал. Я за свое добро требовал, а не воровать по гумнам ходил.

Сухоногий. Все равно тащил! Первую заповедь забыл!

Лаврентий. Ах, боже милосливый!

Сухоногий. Да, всем тащил, обозы гонял, под процент давал, за всем попинался!

Лаврентий. Я ночи не спал, свое хозяйство наживал.

Сухоногий. Молчи! «Ночи не спал! Хозяйство наживал!» А зачем не спал? Зачем наживал? Дьяволу угодил? Что, перед смертью в лепешку закатаешь да сожрешь, деньги-то эти? Мне вот восемьдесят лет...

Лаврентий. Ты меня переживешь. Ты костяной. Тебя ни одна болезнь не берет.

Сухоногий. Мне Господь мою кость за бедность дал, а у меня сына последнего забрали ваше народное правительство, глаза их закатись!

Лаврентий. Действительно, это новое правительство глупо сделало, что у тебя сына последнего взяли у старика убогого.

Сухоногий. А таких-то убогих много!

Лаврентий. Немного, не говори. По порядку стараются брать. А только, конечно, глупцы. Не ихнее это дело

в правители, в начальники лезть. Какие же они правители, когда трем свиньям дерьма не умеют разделить?

Сухоногий. А! Вот то-то и есть! Они его в солдаты взяли, а по его развитию, по его почтенности ему какое место занимать? Он у любого барина в сельской конторе может писарем быть! Им бы и всем-то, солдатам, надо ружья покидать да домой!

Лаврентий. Ружья нельзя кидать, беспорядок будет.

Сухоногий. А за кого им теперь воевать? Наша держава все равно пропала!

Лаврентий. Это верно, пропала. Без пастуха и стадо пропадает. А она, свинья-то, умней человека.

Сухоногий. А! Вот то-то и есть! Кому они присягали, эти солдаты-то твои? Прежде великому Богу присягали да великому государю, а теперь кому? Ваньке?

Лаврентий. На Ваньку надежда плохая. У него в голове мухи кипят.

Сухоногий. Мы присягали на верность службы, а дворяне на верность подданства, а теперь где они? С Ванькой сидят, хвостом ему виляют! Ну, разорился, ну, именье свое прожил, а все-таки честь свою держи, алебарду не опускай! Тебя господа костылями не могли бить, ты по своим летам в крепости не жил, а я жил, знаю. Тебя, такого-то, будь ты хоть бурмистром, нельзя было не бить, ты слов не слушал, ты господина всегда норовил обокрасть, а меня господа пальцем не трогали! Ты крот подземный, у тебя когти скребучие!

Лаврентий. Они и так все давно разбежались, солдаты-то эти твои. Все по деревням сидят, грабежу ждут.

Сухоногий. Сидят! Конечно, сидят! Раньше держава была, а теперь что? Кому служить? А прежде каждый должен был в назначенный срок явиться, а не явился — умей выправиться, рапорт подай! Теперь все равно все прахом пойдет, все придется сначала начинать, по камушку строить!

Лаврентий. Ах, боже милосливый! А строить-то кто будет?

Сухоногий. Кто ж по-твоему? Ты? ан брешешь! Господь, а не ты! Господь!

Лаврентий. Тебе такому-то Господь не даст. У тебя все равно дуром пойдет. Тебе хоть золотой дворец дай, ты все равно его лопухами зарбóстишь. Тебе бы только на жалейках играть да дельного человека злословить. Ну, я крот скребучий, а ты кто? Вашего брата хорошие угодники божии за вашу беспечность за вшивые вихры драли.

Сухоногий. Не все драли, брешешь! Угодники разные есть! Они сами богатства гнушались!

Лаврентий. Они для себя гнушались, а нам велели свое потомство кормить. Державу питать.

Сухоногий. А я под твою Ванькину державу все равно ни за какие золотые дворцы не пойду!

Лаврентий. Я не Ванька, я хозяин.

Сухоногий. Ну, и лопни твое чрево с твоим хозяйством!

Лето 1917

Исход

I

Князь умер перед вечером двадцать девятого августа. Умер, как жил, — молчаливый, ото всех отчужденный.

Солнце, золотясь перед закатом, не раз заходило в легкие смуглые тучки, островами раскинутые над дальними полями на западе. Вечер был простой, спокойный. На широком дворе усадьбы было пусто, в доме, как будто еще более обветшавшем за лето, очень тихо.

Нищие, бродившие по деревне, раньше всех узнали о смерти князя. Они появились возле разрушенных каменных столбов при въезде в усадьбу и нестройно, разными

голосами, запели древний духовный стих «на исход души из тела». Их было трое: рябой парень в лазоревой рубаше с укороченными рукавами, старик, очень прямой и высокий, и загорелая девочка, лет пятнадцати, но уже мать. Она стояла с сонным ребенком на руках, державшим во рту сосок ее маленькой груди, и пела звонко и бесстрастно. Мужики были оба слепы, с бельмами; у нее глаза были чистые, темные.

В доме хлопали двери. Наташа выскочила на парадное крыльцо и вихрем понеслась через двор к людской; из растворенного дома слышно было, как стенные часы медлительно пробили шесть. А через минуту по двору уже бежал и на бегу попадал в рукав армяка работник — седлать лошадь, скакать на деревню за старухами. Гостившая в усадьбе странница Анюта, похожая своей стриженной головой на мальчика, высунулась в окошечко людской и, захлопав в ладоши, что-то закричала ему вслед — тупо, косноязычно и восторженно.

Когда молодой Бестужев вошел к умершему, тот лежал навзничь на старинной кровати орехового дерева, под старым одеялом из красного атласа, с расстегнутым воротом ночной рубашки, полузакрыв неподвижные, как бы хмельные глаза и откинув темное, побледневшее, давно не бритое лицо с большими седеющими усами. Ставни в этой комнате были по его желанию закрыты все лето, — теперь их открывали. На комодке возле кровати желто горела свеча. Склонив к плечу голову, с бьющимся сердцем, Бестужев жадно всматривался в то странное, уже холодевшее, что тонуло в постели.

Ставни раскрывались одна за другою. В окна, сквозь темные ветви старого хвойного палисадника, глянул далекий закат, оранжево догоравший в тучках. Бестужев, отойдя от умершего, распахнул одно из этих окон. В комнату, в застоявшийся, сложный запах лекарств, ощутительно потянуло чистым воздухом. Вошла заплаканная Наташа и стала выносить все то, что князь, с неделю тому назад, внезапно

охваченный какой-то тревожной жадностью, приказал перетаскать к нему и разложить перед его глазами на столах и креслах: истертое казацкое седло, уздечки, медный охотничий рог, собачьи смычки, патронташ. Уже не стесняясь стучать, звенеть удилами и стремя о стремя, она делала дело с твердым и строгим лицом, сильно дунула, проходя мимо комода, на свечку... Князь был неподвижен, и неподвижны были его полуприкрытые, как бы слегка косившие глаза. Вечернее сухое тепло, смешанное с свежестью от реки, наполняло комнату. Солнце потухло, все поблекло. Хвоя палисадника сухо темнела на прозрачном, сверху зеленоватом, ниже шафранном море далекого запада. Щебетала за окном какая-то птичка, и щебет ее казался очень резок.

— Чего жалеть, — серьезно сказала Наташа, опять входя и отодвигая ящик комода, вынимая оттуда чистое белье, простыни и наволочку на подушку. — Умерли смиренно, всем так дай Бог. А жалеть их некому, никого после себя не оставили, — прибавила она и опять вышла.

Бестужев, присев на подоконник, все глядел в темный угол, на постель, где лежал умерший. Он все старался что-то понять, собрать мысли, ужаснуться. Но ужаса не было. Была только удивленность, невозможность осмыслить, охватить происшедшее... Неужели все разрешилось, и теперь можно говорить в этой спальне так свободно, как говорит Наташа? Впрочем, подумал Бестужев, она говорила о князе с той же свободой, — как о человеке, уже вышедшем из круга живых, — и раньше, весь последний месяц.

Со двора, из сумрака слабо и необыкновенно приятно пахло дымом. Это успокаивало, говорило о земле, о продолжающейся простой человеческой жизни. В стемневших лугах, на реке, ровно шумела водяная мельница... Неделю тому назад князь сидел возле ее ворот на старом жернове, — в шапке, в лисьей поддевке, худой и темнолицый, согнувшись и упершись руками в серый ноздреватый камень. Старик, который привез смолоть несколько мер новины, щурясь, исподлобья посмотрел на него, развертывая вере-

тье. «А уж и худ ты! — холодно и пренебрежительно сказал он князю, хотя прежде всегда говорил с ним почтительно. — Прямо никуда! Нет, теперь тебе житья немного. Тебе лет семьдесят будет?» — «Пятьдесят первый», — сказал князь. «Пятьдесят первый! — насмешливо повторил старик, возясь с веретнем. — Не может того быть, — твердо сказал он, — ты намного старше меня». — «Вот дурак, — усмехнувшись, сказал князь, — да ведь мы росли вместе». — «Ну, росли не росли, а житья тебе теперь немного», — сказал старик, натуживаясь, и, приподняв и прижимая к груди тяжелую, полную рожью меру, поспешно, приседая, пошел в шумящую, белую от муки мельницу...

— Теперь уходите, барчук, — бесстрастно, но значительно сказала Наташа, входя с ведром горячей воды.

И от этого ведра, от этих слов Бестужеву вдруг стало страшно. Он поднялся с подоконника и, не глядя на Наташу, вышел через прихожую, прилегавшую к комнате покойного, на черное крыльцо. В сумраке возле крыльца мыли руки приехавшие с деревни старухи, Евгения и Агафья: одна лила из кувшина, другая, согнувшись, захватив в колени подол темного платья, крепко отжимала, встряхивая пальцы. Это было еще страшнее, — эти старухи. Бестужев быстрыми шагами прошел мимо них в сухой, уже поредевший к осени сад, таинственно освещенный по низам только что показавшимся среди дальних стволов круглым, огромным, зеркальным месяцем.

II

В девятом часу в комнате, где умер князь, все пришло в порядок, было прибрано, кровати уже не было, тепло пахло вымытыми полами. На столах, поставленных наискось в передний угол, под старинные образа, возле окна, верхнее стекло которого серебрилось от месячного света, возвышалось под простыней тело, казавшееся очень большим. Три толстых свечи в церковных высоких подсвечниках горели

в головах его прозрачно, дрожали хрустальным чадом. Тишка, сын церковного сторожа Семена, умытый, причесанный, в новой поддевке, жалостно и поспешно читал Псалтырь. «Хвалите Господа с Небес, — читал он, подражая черничкам, — хвалите Его все ангелы Его, хвалите Его все воинства Его...» Темно и чадно дрожали на свечках прозрачные копыя пламени, золотые, с ярко-синим основанием.

В доме огонь был только в лакейской. Там, под окном, стоял стол, на столе кипел самовар. Бледная и серьезная, в черном платочке, Наташа, Евгения, похожая на смерть, и печально-скромная Агафья, плотник Григорий, уже начавший в сарае делать гроб, и церковный сторож Семен, старик с тусклыми свинцовыми глазами, испорченными постоянным чтением при дрожащем свете по покойникам, пили чай. Семен, который должен был сменить сына, принес с собой собственную книгу, в грубой, как бы деревянной коже бурого цвета, закапанную воском, с обожженными кое-где углами страниц.

— А как ни плохо живешь, все будет трудно с белым светом расставаться, — печально говорила Агафья, наливая из чашки в блюдечко.

— Известно, трудно, — сказал Григорий. — Кабы знал, и жил бы не так, все бы имущество истребил. А то боимся именье свое распустить, все думаешь, под старость деться будет некуда... а глядишь, и до старости не дожил!

— Наша жизнь как волна бежит, — сказал Семен. — Смерть, ее, сказано, надо встречать с радостью и трепетом.

— Исход, а не смерть, родной, — сухо и наставительно поправила Евгения.

— С трепетом не с трепетом, а умирать никому не хочется, — сказал Григорий. — Всякая козявка и та смерти боится. Тоже, значит, и у них души есть.

— Не души, батюшка, а дуси, — еще наставительнее сказала Евгения.

Кончив последнюю чашку, Семен мотнул головой, откидывая со лба вспотевшие темно-серые волосы, встал,

перекрестился, захватил Псалтырь и на цыпочках пошел через темный зал, через темную гостиную к покойнику.

— Ступай, ступай, дорогой, — сказала ему вслед Евгения. — Да поприлежней читай. Когда кто хорошо читает, грехи с грешника как листья с сухого дерева валяются.

Сменяя Тишку, Семен надел очки и, строго глядя через них, мягко обобрал пальцами воск с оплывших свечей, потом медленно перекрестился, развернул на аналое книгу и стал читать негромко, с ласковой и грустной убедительностью, только в некоторых местах предостерегающе повышая голос.

Дверь в прихожую возле черного крыльца была открыта. Читая, Семен слышал, как на крыльце кто-то затопал ногами: пришли поглядеть на покойника две девки, обе наряженные, в новых крепких башмаках. Они вступили в комнату робко и радостно, шепотом переговариваясь. Крестьясь и стараясь ступать нетвердо, одна из них, вздрагивая грудями под новой розовой кофточкой, подошла к столу, отвернула простыню с лица князя. Блеск свечей упал на кофточку, испуганное лицо девки стало в этом блеске бледно и красиво, а мертвое лицо князя засияло, как костяное. Большие седеющие усы, разросшиеся за болезнь, уже сквозили, в глазах, не совсем закрытых, темнела какая-то жидкость...

Тишка жадно курил в сенях, поджидая выхода девок. Они проскользнули мимо него, делая вид, что не замечают его. Одна сбежала с крыльца, другую, в розовой кофточке, он успел поймать. Она рванулась, зашептала:

— Ай ты угорел? Пусти! А то отцу скажу...

Тишка выпустил ее. Она побежала к саду. Месяц, уже небольшой, белый, ясный, высоко стоял над темным садом, и золотисто блестело в его свете сухое железо на крыше бани. В тени от сада девка обернулась и, взглянув на небо, воскликнула:

— Ночь-то какая, батюшки!

И очаровательно, с радостной нежностью, прозвучал в ночном тихом воздухе ее счастливый голос.

Ш

Бестужев ходил из конца в конец по двору. Со двора, пустого, широкого, освещенного месяцем, он глядел то на огоньки в деревне за рекой, то на светлые окна людской, где слышались голоса ужинающих. В сарае были раскрыты ворота, горел разбитый фонарь, поставленный на козлы тарантаса. Григорий, наклонившись и отставив одну ногу, шмыгал фуганком по тесине, заправленной в старый верстак. Красно-дымный огонь в фонаре дрожал, дрожали тени в сумрачном сарае... Когда Бестужев на минуту приостановился у ворот сарая, Григорий поднял возбужденное лицо и сказал с ласковой гордостью:

— Крышку уж доделываю...

Потом Бестужев постоял, облокотясь на раскрытое окно людской. Кухарка собирала со стола остатки ужина, стирала с него ветошкой. Пастухи, подростки, укладывались спать: Митька, разутый, молился, стоя на нарах, устланных свежей соломой, Ванька — среди избы. Рыжий лохматый печник, широкоплечий и очень маленький ростом, в черной рубахе с крапинками известки на ней, пришедший с деревни из-за реки, чтобы начать завтра поправлять стены внутри обвалившегося княжеского склепа, вертел, сидя на лавке, сигарку.

Анюта тупо, восторженно и косноязычно говорила с печки:

— Вот и помер, ваше сиятельство, в головá ничего не положил... Так и не дал мне ничего... Нету да нету, погоди да погоди... Вот теперь и годи... Вот и годи... Годи теперь! Погодил, милый? В головá себе много положил? Понял теперь, что у тебя в головах, глупый? А что бы так-то дать рублика два, прикрыть мое тело! Я убогая, уroda. Никого у меня нету. Ишь грудь-то!

И она распахнула кофту и показала голую грудь:

— Голая вся. Так-то, глупый! А я тебя в старые годы любила, я об тебе скучала, ты красивый был, веселый,

ласковый, чистая барышня! Ты всю свою молодость об своей Людмилочке убивался, а она тебя, глупый, только терзала-мучила да с другим под венец стала, а я одна тебя верно любила, да про то только моя думка знала! Я убогая, уroda, а душа-то у меня, может, ангельская-архангельская, я одна тебя любила, одна сию радуюсь о твоей кончине смертной...

И она радостно и дико засмеялась и заплакала.

— Пойдем, Анюта, Псалтырь читать, — громко сказал печник тем тоном, каким говорят с детьми кому-нибудь на потеху. — Пойдешь, не боишься?

— Дурак! Кабы ноги были целы, и пошла бы, ай плохо? — крикнула Анюта сквозь слезы. — Их грех, покойников-то, бояться. Они святые, пречистые.

— Я и не боюсь, — развязно сказал печник, закуривая сигарку, загоревшуюся зеленым огнем. — Я с тобой хоть на целную ночь в фамильный склеп ляжу...

Анюта восторженно рыдала, утираясь кофтой.

Не нарушая светлого и прекрасного царства ночи, а только деля его еще более прекрасным, пали на двор легкие тени от шедших на месяц белых тучек, и месяц, сияя, катился на них в глубине чистого неба, над блестящей крышей темного старого дома, где светилось только одно крайнее окно — у изголовья почившего князя.

1918

Зимний сон

Днем, гуляя, Ивлев прошел по выгону мимо школы.

На крыльце стояла учительница и пристально смотрела на него.

На ней была синяя на белом барашке поддевка, подпоясанная красным кушаком, и белая папаха.

Потом он лежал у себя в кабинете на тахте.

На дворе, при ярком солнце и высоких сияющих облаках, играла поземка.

В окнах зала солнце горячо грело блестящие стекла.

Холодно и скучно синело только в кабинете — окна его выходили на север.

Зато за окнами был сад, освещенный солнцем в упор.

И он лежал, облокотившись на истертую сафьянную подушку, и смотрел на дымящиеся сугробы и на редкие перепутанные сучья, красновато черневшие против солнца на чистом небе сильного василькового цвета.

По сугробам и зеленым елкам, торчавшим из сугробов, густо несло золотистой пылью. И он, глядя, напряженно думал:

— Где же, однако, с учительницей встретиться? Разве поехать к Вуколовой избе.

И тотчас же в саду, в снежной пыли показался большой человек, шедший по аллее, утопая в снегу по пояс: седая борода развеивается по ветру, на голове, на длинных прямых волосах, истертая шапка, на ногах валенки, на теле одна ветхая розовая рубаха.

— Ах, — подумал Ивлев с радостью, — непременно случилось что-нибудь ужасное!

Это был Вукол, разорившийся богач, живший в одинокой полевой избе с пьяницей-сыном.

И Вукол стоял в прихожей, плакал и жаловался, что сын бьет его, с размаху кланялся горничным и просил чайку — хоть щепоточку.

— Затем и лез по сугробам, по морозу, — говорил он. — Что поделаешь, привык, а сын не дает, грозит убить...

И видно было, что его самого трогает — и гораздо более, чем побои и грубость сына, — то, что он когда-то каждый день пил чай и привык к нему.

Он был страшен и жалок, по-медвежьи держал палку в посиневших руках.

— Дайте ему, — сказал Ивлев, — и чаю, и сахару, и белого хлеба!